

⁵ Берковский Н. Я. О «Повестях Белкина» // Берковский Н. Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985. С. 16.

⁶ Гей Н. К. Проза Пушкина. Поэтика повествования. М., 1989. С. 193.

⁷ Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // А. С. Пушкин в русской критике: Сб. статей. М., 1953. С. 46.

⁸ Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности // «Столетия не со-трут...»: Русские классики и их читатели. М., 1988. С. 42, 45, 48—49.

⁹ Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 606.

¹⁰ Слонимский А. Л. О композиции «Пиковой дамы». // Пушкинский сб. памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1923. С. 171—180.

В. С. Листов

(Москва, Россия)

К ИСТОЛКОВАНИЮ ЭПИГРАФОВ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»

Эпиграф к «Капитанской дочке», равно как и эпиграфы к отдельным ее главам, давно привлекают внимание исследователей. О них писали П. В. Анненков, П. И. Бартнев¹, а среди наших старших современников — В. Б. Шкловский, М. А. Цявловский, Ю. Г. Оксман, Г. П. Макогоненко и многие другие². Все они единодушны в том, что эпиграфы эти накрепко вплетены в ткань пушкинской прозы и служат важнейшими скрепами ее художественного единства.

На видную роль эпиграфов в «Капитанской дочке» первым, однако, указал сам Пушкин. Мы помним, что еще с времен болдинских «Повестей Белкина» реальный автор нередко представляет дело таким образом, будто не он, а кто-то другой, рассказчик, ведет предлагаемое повествование. То же самое и в «Капитанской дочке», где вся история рассказана как бы не Пушкиным, а — от первого лица — самим главным героем, Петром Андреевичем Гриневым. Из послесловия, подписанного «Издатель», мы узнаем, что внук Петра Андреевича доставил рукопись автору «Истории Пугачевского бунта», который теперь ее и публикует. Для нашей темы важна заключительная фраза послесловия, где «Издатель» таким образом определяет свой вклад в публикацию рукописи: «Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена» (VIII (1), 374).

Значит, в условном пространстве повести основной текст принадлежит Гриневу, а поиски эпиграфов и их выставление — «Издателю», то есть Пушкину. Ту же ситуацию можно описать и по-другому. Пушкин утверждает, будто основной текст есть подлинный, независимый от «Издателя» исторический памятник, а его, Пушкина, отношение к смыслу рассказа выражено только в эпиграфах. Они-то и есть фаза легкого, артистического истолкования — комментария ко всему семейственному роману. Еще яснее эта мысль звучит в варианте той же

заключительной фразы — из первоначальной, так называемой «буланинской», редакции: «К сожалению, мы получили ее слишком поздно, и решились с дозволения родственников напечатать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпитаф и тем сделать книгу достойною нашего века» (VIII (2), 906).

Отсюда косвенно следует, будто бы само по себе сочинение Петра Гринева несколько архаично, целиком принадлежит ушедшему XVIII столетию. И только эпитафы якобы ставят непритязательный рассказ в некий историко-философский контекст, что и повышает достоинства вещи для следующего, XIX века. В окончательном тексте послесловия Пушкин от этой мысли, как видим, отказался. Но в дальнейшем мы постараемся показать, что смысл по крайней мере двух эпитаф к «Капитанской дочке» не замкнут ни XVIII в., ни даже отечественной историей.

1

«Капитанскую дочку» открывает хрестоматийно известное изречение:

Береги честь с молодю.

Пословица

(VIII (1), 277)

То же самое выражение, только в полном, расширенном виде — «помни пословицу: береги платье с нову, а честь с молодю» (VIII (1), 282), — повторяется в эпизоде первой главы повести. Так Гринева-старший напутствует сына перед уходом в военную службу.

Итак, пословица; то, что общеизвестно; то, что распространяется изустно. В таких случаях, кажется, нет необходимости искать письменные источники выражения. Однако и они известны. В комментариях к «Капитанской дочке», изданной в серии «Литературные памятники», названы два издания русских пословиц и поговорок (1787 и 1822 гг.), хранившихся в личной библиотеке Пушкина³. В обеих книгах есть пословица о «честь с молодю». Казалось бы, вопрос об источнике эпитафа исчерпан.

Однако дело обстоит не так просто. Мы знаем, какие мощные культурные слои нередко лежат в подпочве общеизвестных, расхожих выражений из пушкинского текста. Взять хотя бы ремарку «Народ безмолвствует» в трагедии «Борис Годунов», где одновременно слышны мотивы древнегреческой мифологии, карамзинской истории русского средневековья, ораторского искусства Великой Французской революции и еще многое другое⁴. Или эпитафа «O rus... Ног. O Русь!» (VI, 31) ко второй онегинской главе. Таких примеров очень много, и мы не станем на них останавливаться.

Видимо, и пословица о «честь с молодю» тоже ориентирована у Пушкина не на один только фольклорный источник. В ней, полагаем, слышны отзвуки лицейской латыни и знакомства поэта с одним из самых ярких древнеримских авторов.

Знаменитое введение в восьмую главу «Онегина» напоминает нам о времени, когда юноше начинает являться Муза:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...

(VI, 165)

Знакомство Пушкина с «Метаморфозами» («Золотой осел») Апулея не подлежит сомнению. Именно это фривольное сочинение — по всему смыслу онегинской строфы — отбивает у лицеиста охоту читать серьезного, предусмотренного учебным курсом Цицерона. Пушкин знал «Золотого осла» даже и в русском переводе Ермила Кострова, изданном в Москве Н. И. Новиковым еще в 1780—1781 гг.⁵ Можно ручаться, что интерес Пушкина к римскому автору II в. этим основным произведением не ограничился.

В личном собрании книг Пушкина находим парижское издание Апулея в составе «Латинско-французской библиотеки» Паннкука (С. L. F. Panncoucke), где наряду с «Метаморфозами» помещено и другое сочинение — «Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии»⁶.

Значит, Пушкин мог читать «Апологию» и по-латыни, и в переводе на французский. Отметим и то, что в 1836 г., когда идет работа над «Капитанской дочкой», парижский двухтомник Апулея, вышедший в 1835 г., — среди книжных новинок в России.

Сама «Апология», как видно из ее полного названия, по жанру своему относится к ораторской прозе. Это защитительная речь на суде, где рассматривается дело автора по обвинению не только в магии, но и в убийстве, подделке завещания и других не менее ужасных поступках.

Соотнесение «Апологии» с творчеством Пушкина — отдельная и, думается, весьма обширная тема. Нас будет интересовать только один пассаж защитительной речи римского автора. В самом ее начале, в разделе 3 (всего их 103), есть сравнение, близко напоминающее об отцовском напутствии из пушкинского семейственного романа. Вот оно: «Ведь подобно тому, как всякий порядочный человек, раз провинившись, становится впоследствии особенно осмотрительным и осторожным, так и человек, дурной от природы, еще более нагло принимается за прежнее, и уж во всяком случае, чем чаще он совершает преступления, тем более открыто это делает. Стыд и честь — как платье: чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относиться»⁷.

Сравнение чести с платьем в краткую формулу самого эпиграфа к «Капитанской дочке» не вошло. Оно содержится только в развернутом варианте той же пословицы; ею, как мы помним, старик Гринев напутствует своего Петрушу перед отъездом в армию. В устах Андрея Петровича пословица, конечно, явление чисто русское: ветеран вряд

ли изучал латынь, а в переводе Кострова Апулей выйдет в свет только пятью-шестью годами позже «Истории Пугачевского бунта». Но сам Пушкин выражение Апулея знал. И парижское издание 1835 г. могло напомнить ему русскую поговорку, родословная которой, видимо, теется в веках и тысячелетиях.

Предложенные выше наблюдения, казалось бы, могли быть подытожены известной формулой: «Бывают странные сближения» (XI, 188). Но, как нам представляется, независимо от того, действительно ли сам автор «Капитанской дочки» имел в виду отмеченное нами совпадение, оно тем не менее органично вписывается в более широкий контекст пушкинских размышлений. Так, в плане статьи о начальном периоде русской литературы, он отметил: «Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою» (XII, 208), а в толковании старинных пословиц и поговорок указал, в частности: «Бодливой корове бог рог не дает — пословица латинская»⁸. В неотправленном письме П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. он пометил: «Ворон ворону глаза не выклюнет — шотландская пословица, приведенная В. Ск<оттом> в „Woodstock“» (XVI, 336).

2

Главу XI «Мятежная слобода» открывает знаменитый эпиграф, изучавшийся много и многими. Он представляет собой три неполных стихотворных строки:

В ту пору лев был сыг, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»
Спросил он ласково.

А. Сумароков (VIII, 344)

Уже в тридцатые годы нашего века исследователи знали, что стихи написаны самим Пушкиным, стилизованы под Сумарокова и отсутствуют в сочинениях автора «Дмитрия Самозванца» и «Тресотиниуса». Т. Г. Зенгер дала варианты несомненно пушкинской авторской правки в строках эпиграфа⁹, а Б. В. Томашевский указал на связь этого эпиграфа «с первоначальным замыслом: Гринев — гость Пугачева, а не пленник, и как гостя принял его Пугачев»¹⁰.

Однако эти многие решающие обстоятельства все-таки окончательно не снимают очевидных вопросов — об источниках стихотворения, об оттенках смысла псевдосумароковских строк. Например, В. Б. Шкловский отмечал, что «Пугачев сближен со львом... Львы и орлы — символы царственной силы»¹¹. Тут у Шкловского намек на едва ли не царственное достоинство Пугачева, как бы выраженное Пушкиным иносказательно.

Думается, направление мыслей Пушкина не было ни столь государственно, ни столь просто.

Вместе с именем Сумарокова на страницы «Капитанской дочки» еще раз — теперь уже прямо от автора романа — приходит русский XVIII век. Пусть Сумароков реально и не писал строк о льве и верте-

пе. Но — мог бы. Вся лексика, весь поэтический строй стихотворения с несомненностью тяготеют к стихотворной архаике, напоминая о елизаветинских и екатерининских временах. В этом смысле поиски источников эпиграфа суммарно ясны и сомнений не вызывают.

Нам уже приходилось говорить о том, что среди современных Пушкину авторов был малоизвестный поэт, чье творчество началось во второй половине XVIII столетия и продолжалось в той же архаической стилистике до 30-х гг. следующего, XIX века. Речь идет о «слепом попе» — Гаврииле Авраамовиче Пакатском¹², упомянутом в одном из пушкинских писем (XIII, 147).

Среди сочинений Г. А. Пакатского мы называли и его перевод ветхозаветной Книги «Плач Иеремии», где об испытаниях пророка, посланных Богом, повествуется такими стихами:

Подобно как медведь с кохтеобразной дланью
Стремится за своей обыкновенной даною,
Как лев в отверзии вертепа своего
Приближенные ждет там жертвы для него,
Так ярость Ты свою излил на мне едином...¹³

О прямом смысловом соотношении пушкинского образа и образа из виршей Пакатского, разумеется, не может быть речи. Эпиграф «Капитанской дочки», в котором зверь разговаривает человеческим голосом, тяготеет к сказке, к басне. У Пакатского же контекст более чем серьезен: медведь и лев сравниваются с Богом во гневе Его. Лев вовсе не сыт; он ждет приближения грешника для того, чтобы его растерзать.

Тем не менее, подобно Пакатскому, Пушкин в эпиграфе обозначает ту же ситуацию: лев в вертепе.

Есть и еще одно важное соответствие. И перевод Пакатского, и эпиграф повести написаны одним и тем же размером — шестисопным ямбом. Сравним:

Как лев в отверзии вертепа своего...

и

Зачем пожаловать изволил в мой вертеп...

Проступает некое сходство Пакатского и Пушкина. Точнее — общее тяготение псевдосумароковского эпиграфа и виршей священника к смысловой, лексической и просодической традиции XVIII в. Особенно существенно здесь одно лексическое соответствие.

Мы помним, что стихи Пакатского — не оригинал, а перевод. Или, скорее, переложение на русский язык библейской Книги «Плач Иеремии». Кажется, ничто не мешало Пушкину прямо воспользоваться Ветхим Заветом, где наверняка присутствует образ льва, подстерегающего грешника в засаде. Но в церковнославянском тексте, равно знакомом и Пушкину, и Пакатскому, не находим слова «вертеп». Вот соответствующий стих «Плача Иеремии»: «Бысть яко медведь ловяй... Яко лев в сокровенных» (Иер. 3, 10). Слово «вертеп» в оригинале от-

сутствует. Оно либо привнесено в перевод самим Пакатским, либо заимствовано им из какого-то иного, неизвестного нам источника. Так или иначе, но два десятилетия спустя после «слепого попа» Пушкин вновь помещает льва в вертеп. И тем обозначает едва только скрытую угрозу для своего героя. «Толковый словарь» В. И. Даля определяет «вертеп» как «пещеру, притон, скривище каких-то дурных дел»¹⁴. В этом смысле слово и употребляется Пушкиным; тут не может быть сомнений.

Словоупотребление Пакатского не столь очевидно, а может быть, даже отчасти и сомнительно. В «отверзие вертепа» он помещает не просто льва, а гневного Бога во образе льва. Ветхозаветный пророк, автор иеремиады, если верить церковнославянскому тексту, избегает в этом случае слова «вертеп». Бог, рожденный в пещере, проведший земную жизнь среди грешников и бедняков и спустившийся во ад, есть явление не Ветхого, а Нового Завета. В память о новозаветной истории и возник мистериальный рождественский обычай — представлять в малом ящике в лицах воплощение Спасителя. Такой ящик тоже назывался «вертепом»¹⁵.

В синодальном переводе Библии в ветхозаветной иеремиаде тоже никакого «вертепа» не будет: «как бы лев в скрытом месте» (Иер. 3, 10).

Тем самым, совпадая формально и внешне, Пушкин и Пакатский все-таки существенно расходятся в своих словоупотреблениях. В эпитафии лев не Божья кара, а — напротив — средоточие греха. Заметим попутно, что если уж искать аналогию этому образу, то следовало бы напомнить стихотворение «Напрасно я бегу к Сионским высотам...», написанное в 1836 г. — как раз тогда, когда Пушкин работал над «Капитанской дочкой». Именно там лирический герой говорит о себе:

Грех алчный гонится за мною по пятам...
 Так <?>, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
 Голодный лев следит оленя бег пахучий.

(III (1), 419)

Даже и определения льва-греха в обоих случаях взяты Пушкиным из одного ряда. В стихотворении — лев «голодный», а в эпитафии — «лев был сыт». Не забудем и совпадения размера — снова все тот же шестистопный ямба...

Еще один оттенок дает тот же словарь В. И. Даля. «Вертепами», оказывается, называли не только сомнительные притоны, но и «едва подступные овраги, водомоины во множестве, овражистые извилины»¹⁶. Действие XI главы «Капитанской дочки» происходит в Бердской слободе, пугачевской столице. То, что она находится в степи, прорезанной оврагами, мы узнаем в самом начале главы — в том эпизоде, где Гринев и Савельич стараются стороной объехать разбойничий стан: «Вскоре засверкали Бердские огни. Мы подъехали к овра-

гам, естественным укреплением слободы» (VIII (1), 346). Потом к этим же оврагам Гринев вернется, чтобы выручить Савельича, попавшего в руки к пугачевцам (VIII (1), 346).

Значит, реплику Пугачева-льва из псевдосумароковского эпитафия о госте, пожаловавшем «в мой вертеп», можно толковать не только в переносном смысле, но отчасти и буквально. Бердская слобода есть вертеп и как разбойничий притон, и как овраги, «естественные укрепления», хорошо известные Пушкину.

Любопытно будет заметить, что в 1833 г. с Бердской слободой и ее оврагами Пушкина знакомил как раз В. И. Даль, сопровождавший поэта в его поездке по пугачевским местам вокруг Оренбурга. Писатели уже тогда могли обсуждать значение слова «вертеп» в обоих смыслах. След двойного восприятия этого слова есть в основном тексте третьей главы «Истории Пугачева», где дано подробное описание Бердской слободы как разбойничьего притона: «Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвергованных страдальцев» (IX (1), 27). Определение мятежной слободы как «вертепа» прямо ведет к эпитафию XI главы. Да и сама глава уверенно вырастает из этого фрагмента «Истории Пугачева», где помянуты поруганные разбойниками дочери офицеров. Отсюда — страхи Гринева за судьбу Маши Мироновой, толкнувшие его на поездку в пугачевский лагерь, то есть одна из главных фабульных связей всей повести.

Хорошо известно записанное П. И. Бартевым свидетельство В. И. Даля: «Едучи в Берды, Пушкин говорил ему <В. И. Далю>, что у него на уме большой роман, но он не соберется сладить с ним»¹⁷.

Теперь можно утверждать, что эпитафий со львом в вертепе рождался задолго до начала прямой работы автора над романом и на сложном скрещении разных мотивов — библейских, исторических, филологических, личных...

* * *

Мы помним авторскую реплику из первой главы «Евгения Онегина» — о герое, который «знал довольно по-латыни, / Чтоб эпитафий разбирать» (VI, 7). Иронический характер этого замечания, разумеется, понятен сам по себе. Однако ж обращение к «Капитанской дочке» убеждает в том, что пушкинские «эпитафий» необходимо «разбирать» не только в контексте самого романа, но еще и с учетом того, «что знал еще» его автор.

Примечания

¹ Библиографию см. при статье: «„Капитанская дочка“ в критике и литературоведении» // Пушкин А. С. Капитанская дочка / Подгот. Ю. Г. Оксман; Под ред. Г. П. Макогоненко. 2-е изд., доп. 1984. С. 233—280 (Лит. памятники).

² Шкловский В. Б. Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд. М., 1955; Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А. С.

Капитанская дочка. С. 145—199; *Макогоненко Г. П.* Исторический роман о народной войне // Там же. С. 200—232.

³ См.: *Пушкин А. С.* Капитанская дочка. С. 283.

⁴ *Пушкин А. С.* Борис Годунов. Трагедия / Комм. Л. М. Лотман и С. А. Фомичева. СПб., 1996. С. 348—357.

⁵ *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Прил. к репринт. изд. М., 1988. С. 12 (№ 262 (4)).

⁶ *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: (Библиогр. описание). СПб., 1910. С. 160. (№ 613).

⁷ *Апулей.* Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии. Метаморфозы в XI книгах. Флориды / Пер. М. А. Кузьмина и С. П. Маркиша. М., 1956. С. 9. (Лит. памятники).

⁸ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. Т. 7. М.; Л., 1951. С. 534.

⁹ *Зенгер Т. Г.* Комментарий к фрагментам произведений, планы, отрывки писем и т. п., № 46 // Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 221.

¹⁰ *Томашевский Б. В.* Первоначальная редакция XI главы «Капитанской дочки» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. № 4—5. С. 11—13.

¹¹ *Шкловский В. Б.* Заметки о прозе русских классиков. С. 76.

¹² *Листов В. С.* Пушкин и Г. А. Пакатский // Болдинские чтения (В печати).

¹³ *Пакатский Г.* Плач Иеремии, переложенный стихами Церкви Санкт-Петербургских Богаделен Священником Гавриилом Пакатским. СПб., 1814. С. 36.

¹⁴ *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М., 1978. С. 182.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ *Бартенев П. И.* Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. М., 1925. С. 21—22.

О. Л. Калашникова

(Днепропетровск, Украина)

КЛЕОПАТРА, ПЕТРОНИЙ И ХРИСТОС В «<ПОВЕСТИ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ>» А. С. ПУШКИНА (О принципах последовательности эпизодов)

В многообразном и в разной степени изученном наследии Пушкина планы, наброски, незаконченные произведения занимают особое место, оставляя исследователям множество вопросов и даже загадок. Одним из таких загадочных и практически не освоенных наукой произведений является «<Повесть из римской жизни>». Исследовательская литература о ней невелика и сводится, как правило, к попыткам уяснения соотношения плана и замысла (Н. Г. Чернышевский, А. А. Ахматова, П. Г. Анненков, Ю. М. Лотман).

Повесть едва начата Пушкиным, план произведения предельно лаконичен: «Описание дома. — Первый вечер, нас было кто, [ст<арый>] греч.<еский> философ исчез — Петр.<оний> улыбается и сказывает

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
«МОСКВА—КРЫМ»

ПУШКИН И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Материалы шестой Международной конференции

Крым, 27 мая—1 июня 2002 г.

Санкт-Петербург,
Симферополь,
2003